

А. Г. Гродецкая

НОВАЯ КНИГА О ТОЛСТОМ *

Книга профессора Колумбийского университета Ричарда Густафсона должна вызвать интерес у советского читателя — ее автор предлагает нетрадиционное решение ряда важных для изучения Толстого проблем.

Монография, над которой ученый работал 17 лет, получила высокую оценку на Западе.¹

В чем видит автор новизну своей концепции творчества Толстого? Во-первых, в том, что его исследование разрушает устойчивое мнение о существовании двух Толстых — до и после переворота, писателя и религиозного мыслителя. И, во-вторых, общепринятому взгляду на философию Толстого как чисто нравственную он противопоставляет свою «реконструкцию теологии Толстого» (С. 7), включая в это понятие онтологию, эпистемологию (гносеологию), этику, эстетику, политическое учение.

Очевидно, что новизна такого подхода не абсолютна. В отечественном литературоведении давно отказались от теории «двух Толстых»; предметом исследования стала не противоречивость, а последовательность этапов духовной эволюции писателя. Но и в советской и в зарубежной науке о Толстом достаточно упрощений и стереотипов — необходимость более широкого взгляда на творчество и мировоззрение Толстого осознана американским исследователем.

Р. Густафсон определяет религиозную философию Толстого как пантеизм (все — в Боге, в отличие от пантеизма: Бог — во всем). Аргументы в пользу своего определения он находит в первую очередь в художественном творчестве Толстого (идея слияния со «Все», отношения части и целого, «шар» Пьера), а также в его дневниковых записях. Например: «Я не орудие, но орган Божества. Я такой же, как и Отец, как говорил Иисус, но я его орган, клеточка и все тело. Отношение подобное... Я и Отец одно».²

Художественное творчество Толстого исследуется Р. Густафсоном в его гносеологическом аспекте.³ Это способ познания не только чело-

века и мира, но и того, что Толстой называл «Все», «Бог», «целое», «благо», «истина» и что Р. Густафсон называет «Богом Жизни и Любви». Поэтому искусство Толстого — это теология в особой, традиционной для русской теологии — художественной — форме. Все его произведения рассматриваются как этапы познания, а художественный образ — как его средство и результат.

Поскольку процесс «уяснения» смысла жизни продолжался у Толстого вплоть до смерти, Р. Густафсон признает единственное правило чтения его произведений: «позднее проясняет раннее»; раннее — «экспериментальная версия позднего»; каждое слово Толстого не может быть понято само по себе, а лишь в связи с полным «текстом» его жизни (С. 6—7).

И замысел «реконструкции», и метод чтения потребовали привлечения обширного материала — художественного, публицистического, эпистолярного, дневникового. Им американский ученый владеет в совершенстве.

В книге прослеживается движение через все творчество Толстого «простейших понятий»⁴ его философии. Толстовское «снятие покровов» с истины не снимает для Р. Густафсона ее внутренних противоречий. Парадоксам философской системы Толстого уделено много внимания. Исследуется сам способ его философского мышления, предполагающего истинным лишь цельное знание, которое постигается не умозрачительно, а «чувством всего существа» (50, 161).

Автор утверждает приоритет для Толстого субъективного духовного опыта перед любым другим (и видит в этом особенность русской философской мысли). Поэтому в книге отсутствует социально-исторический или культурный фон, не ставится вопрос об источниках и влияниях (исключение составляет восточнохристианская теологическая традиция, о чем речь ниже). «Его (Толстого, — А. Г.) теология почерпнута не из Священного писания или других книг. Его идеи сложились на основе его опыта... Его теологическое понимание реальности — его понимание Бога и мира, греха, страдания и смерти, прощения, искупления, примирения — вывалилось в горниле его собственной жизни» (С. 191). Влияние на Толстого западной философии ученый считает преувеличенным.

Мнению Р. Густафсона можно найти

⁴ Р. Густафсон использует толстовское определение из письма Н. Н. Страхову от 20 ноября 1875 года: «Мое тело, моя душа, моя жизнь, моя смерть, мое желание, моя мысль, мне больно, мне дурно, мне хорошо, мне радостно» суть «первобытные», «простейшие понятия», которые «никогда не могут изменяться и не изменились с тех пор, как мы знаем человечество — ни у дикого, ни у мудреца» (62, 222).

* *Gustafson R. F. Leo Tolstoy: Resident and Stranger: A Study in Fiction and Theology.* Princeton, New Jersey, 1986.

¹ См. рецензию в журнале «Slavic and East European Journal» (1987. Vol. 31. № 4. P. 623—625), а также: *McLean Hugh. Tolstoy Made Whole // Russian Review.* 1987. Vol. 46. P. 321—328.

² *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1952. Т. 50. С. 44. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

³ Недостаток внимания к гносеологической природе искусства отмечала в свое время Е. Н. Купреянова. См.: *Купреянова Е. Н. Эстетика Л. Н. Толстого.* М.; Л., 1966. С. 16 и след.

подтверждение в высказываниях самого Толстого, который подчеркивал «доморошенность» своих философских воззрений. Можно определить его путь познания словами Б. Паскаля: «... во мне, а не в писаниях Монтеня, содержится все, что я в них вычитываю».⁵

И все же отсутствие в книге общекультурного, философского и литературного контекста духовных исканий Толстого оставляет впечатление неполноты. Толстой имел широчайший опыт приобщения к духовному наследию прошлого, к исканиям мыслителей-современников. Этот опыт позволил ему выделить среди собственных вопросов главные — «вопросы жизни» — и осознать их как общечеловеческие. Это существеннейшая сторона толстовского познания.

Таким образом, мир Толстого в книге — это мир «в себе», замкнутое пространство. Отлучение писателя от общекультурной традиции в известной мере оправдано установкой ученого на исследование имманентных свойств толстовского мира. Изоляция не обеднила этого мира, но позволила Р. Густафсону определить его внутренние законы: постоянство самодвижения, единство и противоречивость, диалектическую связь единичного и общего, части и целого.

Книга Р. Густафсона равно аналитична и художественна. Многочисленные эпиграфы, сквозные образы и метафоры, выразительный язык, эффектные концовки глав и своеобразная продуманная композиция делают ее увлекательным чтением.

В первой из двух частей книги исследуется проблема общения людей⁶ в мире Толстого. Все изложение строится на раскрытии смысла заглавия книги. Это аллегорический ключ к пониманию основного психологического конфликта Толстого, причины и цели его этических и религиозных исканий.

От чувства сиротства (все главные герои Толстого, кроме Ростовых, — сироты) — к чувству принадлежности, сыновности; от отчуждения — к любовному единению с людьми и миром — таков путь героев Толстого. Он составляет в его теологии определенную трехчастную «парадигму жизни». В упрощенном виде она такова (С. 38—52): идилический мир детства, дома, семьи, веры и любви — трагическая утрата этого мира — его волшебное воскресение через воспоминание. Это модель автобиографической трилогии, «трилогии» романов, каждого из них порознь; а внутри романов — модель развития рифмующихся сюжетных и образных линий.

В книге исследуется также проблема личного

и общего блага в творчестве Толстого. Герой Толстого ищет возможности их соединения. Эти поиски истолкованы Р. Густафсоном в свете концепции жизнепониманий («Царство Божие внутри вас»). Лишь «божеское» жизнепонимание снимает противоречие любви к себе и любви к миру; через осознание себя частью целого, частью Любви герою открывается его «истинное Я». Николеньке Иртеневу, Оленину, князю Андрею и Пьеру такая возможность дана, утверждает Р. Густафсон.

Анализ «Анны Карениной» приводит исследователя к размышлениям о толстовской «теологии греха и страдания», а исследование «Воскресения» дает материал для воссоздания его «теологии искупительной любви» — центральной, по мнению ученого, идеи его религиозной системы. В понимании Толстого, любовь — вне цели, вне утилитарных мотивов, вне мысли о вознаграждении. Вознаграждение — в самой любви, сейчас; она — причина и результат. Высшая ступень такой любви — любовь к врагу, два ее полюса — себялюбие и юродство (С. 186—192).

Особый интерес представляет глава «Поэтика эмблематического реализма», в которой дается определение художественному методу Толстого. (Это завершающая глава первой части, в ней обобщены наблюдения над поэтикой писателя). Р. Густафсон исходит из положения, что мир для Толстого — «воплощение и раскрытие духовной правды», «жизнь — откровение», «реальность — язык Бога» (С. 203). Поэтому изображение этого мира становится эмблемой «духовной правды». Эмблематичен сюжет толстовских произведений — это «путешествие открытия», «все воплощающий и раскрывающий путь к Любви» (С. 204). Заданный смысл имеет вся система сравнений и метафор; существуют особые эмблематические сцены, раскрывающие смысл целого; эмблематичны миссии героев; детали одежды и обстановки в бедном вещах мире Толстого приобретают символическое значение. Все это делает реализм Толстого аллегорическим, притчевым.

Каждый тезис исследователя подкреплен многочисленными примерами. Последовательно проводится мысль о нарастании эмблематизма в творчестве Толстого. «Притча» «Хозяин и работник» рассматривается как его абсолют, как пример самобытного толстовского жанра. Установка на аллегорическое толкование текста позволяет ученому увидеть, понять и придать смысл тому, что ранее оставалось незамеченным. Самый яркий пример среди множества других — анализ сцены *Анна в вагоне поезда* (С. 303—312). Это лучшая и наиболее характерная у Толстого сцена, считает Р. Густафсон.

Следует отметить особую чуткость исследователя к звучанию и значению толстовского слова. (Он замечает, например, как «разрезной ножичек» в руках Анны — трижды повторенная Толстым деталь — превращается в «ножик» и затем в «нож»). В книге много поразительных наблюдений над словом Толстого.

Наделяя смысловой функцией все мотивы,

⁵ Ларошфуко Ф. де. Максимы; Паскаль Б. Мысли; Лабрюйер Ж. де. Характеры. М., 1974. С. 120.

⁶ Актуальность постановки такой проблемы подтверждает свежая публикация: Сливская О. В. «Война и мир» Л. Н. Толстого: Проблемы человеческого общения. Л., 1988.

образы, детали толстовского текста и тем обогащая содержание, легко обеднить собственно эстетическую ценность произведения, разрушить иллюзию полноты и естественности отражения жизни. Американскому ученому удалось не перейти грани, хотя подчас он игнорирует существование деталей большего и меньшего смыслового потенциала, вплоть до нейтральных.

В концепции эмблематического реализма (как и в мысли об исключительности для Толстого собственного жизненного опыта) есть некое риторическое преувеличение: в творчестве Толстого, в его «словесных иконах» оказывается эмблематичным все. Исследователь не всегда учитывает то, что в литературе о Толстом названо принципом «федеративности»: сопряженные с целым отдельные художественные компоненты произведений Толстого имеют и независимый смысл и функцию.⁷ Очевидно, что «Война и мир» с трудом укладывается в схему, годную для «Хозяина и работника». Самому ученому приходится не раз оговориться, что его определения не исчерпывают живого многообразия мира Толстого. В целом же критерий для определения особенностей реализма Толстого выбран верно: он учитывает то значение, которое придавал художественной детали сам писатель. Р. Густафсон ближе к толстовскому пониманию «иллюзии отражения жизни», которую производит «единство самобытного нравственного отношения автора к предмету» (30, 18—19), чем те исследователи, которые видят ее в воспроизведении социально-исторических или психологических реалий.

Во второй части книги реконструирована гносеология Толстого. Автор выделяет типы знания и способы познания толстовских героев, исследует его общую концепцию сознания, определяет теологическую основу идеи совершенствования, рассматривает роль самосознания в судьбе героев Толстого и его собственную «практику самосознания».

Проблема соотношения истинного и ложного знания выделена как центральная проблема гносеологии Толстого. В «Войне и мире», на взгляд Р. Густафсона, важна не полемика с историками, а толстовская концепция познания. «Архетипы» двух способов познания — Кутузов и Наполеон: первый способен слиться с общей жизнью и через утрату себя в любви к другим познать ее истинные законы, свое место и свою миссию в ней; второй имеет лишь иллюзию знания законов жизни и своего участия в ее событиях. Все прочие персонажи романа так или иначе соответствуют этим моделям.

В мире Толстого существует лишь один истинный способ познания — это «со-знание», «со-бытие» (С. 224), «знание посредством участия», «любящее знание» (С. 241). Таково знание Пьера на батарее Раевского и в плену, князя Андрея — в полку, Наташи — в осажденной Москве. Гносеология Толстого, таким образом, неотделима от его этики.

Все, что препятствует такому знанию и ведет к потере «истинного Я», — «опьянение» похотью, враждой, себялюбием и пр. — исследуется в главе «Зараженное сознание». Р. Густафсон разделяет состояния «опьянения» и состояния экстаза. В состоянии экстаза, преображающем мир, близком молитвенному, человек осознает свое «божественное Я».

Последовательность развития авторской концепции, выразившаяся в стройной композиции первой части книги, к сожалению, разрушается во второй. Желание автора сохранить логику и связь при переходе от главы к главе и от частного к общему приводит к включению в текст «сцепляющих» главков. Они не прибавляют существенно нового знания. (Так, весьма упрощенное психоаналитическое отступление оказалось необходимым автору для разговора о толстовской концепции искусства, назначение которого не опьянять, но заражать).

«Заразительность» — одна из главных категорий эстетики Толстого — связана с его гносеологией, считает Р. Густафсон. Много раз описанный «эффект присутствия» в его интерпретации оказывается не просто мастерским приемом воссоздания реальности, но особым средством воздействия на читателя. Знание читателя подобно знанию персонажа, оно дается участием в событиях его жизни, погружением в его душу. Ученый относит к таким особым средствам воздействия следующие: изоляция отдельной вещи, наделение ее эмблематическими свойствами; «кинематографическая» техника замедленного действия; атомизация изображения (фокусировка); сопоставление, параллелизм сходных и контрастных сюжетных конструкций; словесная и образная рифма; связь части и целого, а также показ воспоминаний, снов, бреда и видений. (Р. Густафсон отмечает, что советские исследователи⁸ выделяют те же художественные приемы Толстого, не рассматривая их гносеологических свойств).

У Толстого, считает ученый, «заразительен» сам язык. Он подобен ораторскому, это язык проповеди, или гомилии (С. 389). Сложное ритмическое и звуковое построение толстовской фразы, ее высокая лексическая, фонетическая и синтаксическая организация, риторические повторы, игра слов и смыслов — не приемы орнаментальной прозы. Это средство заставить читателя увидеть и почувствовать как достоверную правду образа или идеи. Эти положения подтверждаются блестящим анализом толстовских текстов (эпизод появления Элен в гостиной Анны Шерер, танец Даниила Купора у Ростовых — С. 375—379 — и др.).

«Заразительность» — средство воздействия на читателя. С другой стороны, «зараженность», «со-знание», «со-бытие» — особый способ читательского познания. Гносеологические функции художественных приемов, таким образом, аргу-

⁷ См. об этом: Там же. С. 14—17.

⁸ Работы советских ученых — Л. Я. Гинзбург, П. Громова, С. Бочарова и др. — высокоавторитетны для американского исследователя.

ментированно доказаны. Стоит лишь отметить, что, по логике всего исследования, речь должна в первую очередь идти о знании автора, а не о знании читателя. У Р. Густафсона акцент смещается в область читательского восприятия — в этой сфере демонстрируются гносеологические свойства толстовской поэтики. Однако исследование сферы восприятия подчинено иной методике⁹ и ставит иные задачи, нежели собственно литературоведение. В данном случае это приводит к отступлению в область психологии чтения и рассуждениям о том, как читать Толстого (гл. «Знание читателя»).

Вместе с тем обусловленность поэтики Толстого его теологией (напомним, что гносеология — ее часть) — бесспорное открытие в книге Густафсона.

В целом вторая часть книги, содержащая лучшие образцы стилистического анализа, уступает первой по глубине поставленных проблем и последовательности их решения, здесь встречаются повторы и упрощения.

Отрицая в Толстом продолжателя какой бы то ни было философской традиции, Р. Густафсон делает исключение лишь для восточнохристианской теологии — от представителей патристики до русских философов XIX—начала XX века. К этой традиции Толстой принадлежал, в ней он жил, утверждает ученый; его идеи, результат его жизненного опыта, приобрели характерную для этой традиции форму. Концепция «пути жизни» Толстого соотносена с доктриной спасения в восточнохристианской теологии (преображение, обожение, «апокатастасис» Оригена — С. 104—105). Толстовское понимание греха и страдания сопоставлено с теологией искупления Оригена, в которой страдание учит и примиряет (С. 151—152). Концепция человека у Толстого, по мнению Р. Густафсона, соответствует антропологическому учению Григория Нисского, в котором человек мыслится как противоречивое соединение «божественного» ядра и «животной» оболочки. В том же контексте исследуется и «теология сознания» Толстого (С. 264—267). Во всех случаях теологическая доктрина восточного христианства излагается по многочисленным источникам, среди которых патристическая литература, труды П. Флоренского, В. Лосского, С. Булгакова, Г. Флоровского, С. Франка, И. Мейендорфа и др. Обширная библиография по этому вопросу представлена в конце книги (С. 467—470).

Автора интересуют лишь моменты сближения или совпадения, факты расхождения опущены. Р. Густафсон тенденции не скрывает. Но принципиальное утверждение ученого, что философия Толстого не может быть понята вне контекста восточнохристианской теологической мысли, остается, как ни странно, его субъективным мнением. Сближения произвольны и немногочисленны, а сам анализ автора последователен и полон вне этого контекста. К тому

же совпадения не абсолютны и еще не доказывают преемственности.

Очевидно, что глубокие познания ученого в области восточнохристианской теологии во многом определили направление и проблематику исследования. В ином контексте едва ли было бы возможно рассмотреть творчество Толстого как возмужествующую теологию, выделить в нем гносеологическую доминанту, исследовать антиномичность философской системы Толстого, что не исключает ее целостности; обосновать положение о приоритете субъективного духовного опыта, в том числе и мистического; дать полные и убедительные характеристики «эмблематизма» и «заразительности» (здесь Р. Густафсон несомненно исходил из византийского учения об образе и символе).

О знаниях Толстого в области греческой и византийской патристики ничего не говорится (это противоречило бы положению об исключительности жизненного опыта на пути его познания). Однако если православие во многом отступило от раннехристианской традиции, на что и указывает автор, то следовало бы оговорить, где и в чем продолжала жить сама эта традиция и каким образом она влияла на Толстого.

Проблема, поставленная Р. Густафсоном, до него почти не изучалась. Между тем она важна. Толстой и в «Критике догматического богословия», и в трактатах «В чем моя вера?» и «Царство Божие внутри вас» «справлялся» с христианскими апологетами первых веков и Оригена читал. Выяснение того, когда и в связи с чем Толстой ссылаясь на авторитет отцов церкви, позволит если не скорректировать, то дополнить положения Р. Густафсона.

Известно, что Толстому была важна не суть христианского догмата, а его нравственное приложение, не то, что «совершенно непонятно и потому ненужно», а то, что «вечно и общечеловечно, что нужно для жизни и разумно» (23, 411). Не концепция спасения интересовала его у Оригена, а в первую очередь вопросы этики: идея непотвращения (28, 1; 53, 332), отношение к войне (23, 367; 41, 157), а также противостояние официальной церкви (ересь — «движение», «попытка живого понимания учения» — 28, 54). Различие восточной и западной христианской традиции потому и не было для Толстого принципиальным: Ориген и Тертуллиан стоят у него рядом. Это лишь отдельные замечания, основанные на фактах обращения Толстого к авторитету отцов церкви.

При переносе акцентов с этики на онтологию и гносеологию в исследовании Густафсона равновесие не нарушилось, так как центром философской системы оставалась этика, связь и взаимообусловленность разных сторон этой системы была продемонстрирована. В целом концепция автора убедительна; вопрос о самоопределении Толстого по отношению к христианской традиции заслуживает внимания.

Бесспорные достоинства книги — единство замысла и метода, полнота знания, свобода интерпретации, мастерство изложения. Работа

⁹ См. об этом: *Ищук Г. Н.* Лев Толстой: Диалог с читателем. М., 1984. С. 7, 8.

Р. Густафсона имеет большую познавательную ценность, в ней мир Толстого представлен разносторонне и полно.

* * *

Когда рецензия была готова к печати, автору ее представилась возможность познакомиться с содержанием недавно созданного журнала «Tolstoy Studies Journal». Это печатный орган Толстовского общества, основанного в декабре 1987 года в Сан-Франциско при Американской ассоциации учителей русского и восточноевропейских языков. Председателем общества стал профессор Р. Густафсон. В первом выпуске журнала (1988. № 1. С. 13—26) состоялся круглый стол, посвященный обсуждению книги «Leo Tolstoy: Resident and Stranger». Его участники — В. Террас, Р. Вильямс, Р. Грегг, Д. Орвин, Ф. Рул — дали книге однозначно высокую оценку, признав ее замечательным и плодотворным явлением американской славистики. Как достоинства книги были отмечены: полнота изложения онтологии, нравственной философии, эпистемологии Толстого, последовательность теологической интерпретации его произведений, обнаруженная связь гносеологии Толстого с его эстетикой и поэтикой, оригинальность параллели «Толстой — восточное христианство».

Вместе с тем ряд положений в концепции Р. Густафсона вызвал несогласие: 1. Недостаток внимания к диахронии: взгляд на творчество Толстого как целое выровнял различия отдельных его периодов. 2. Отсутствие сопостав-

ления идей Толстого с идеями тех мыслителей, кто так или иначе влиял на него. 3. Параллель между философией Толстого и восточнохристианской теологией дана слишком общо; не ясно, закономерна она или случайна; сама русская теологическая традиция представлена упрощенно, вне сложности и противоречий. 4. Прочтение ранних произведений Толстого сквозь призму его позднего творчества не является единственно возможным и единственно верным.

В ответ на замечания Р. Густафсон — также участник круглого стола — подчеркнул, что его задачей было продемонстрировать в творчестве Толстого удивительное постоянство в разнообразии, не потерять из виду главного течения его мысли и опыта, — для этого ему понадобилось сузить фокус. Сопоставление параллельных идей, считает ученый, увело бы от главного предмета исследования; кроме того, вопрос о влиянии на Толстого спорен — каким оно было и было ли вообще? Что касается восточнохристианской теологии, то свою задачу ученый видел в том, чтобы выявить структурное подобие идей Толстого и греческих мыслителей. Главным было показать, что Толстой не был ни буддистом, ни последователем даосизма, ни протестантом западного толка. Даже опровергая учение церкви, он оставался в рамках традиции. Для ранних произведений Толстого ученый допускает возможность разного прочтения. Все дело в установке исследователя: является ли для него произведение искусства итогом того, что автор видел (или прочел), или тем, что он только начинает видеть, или и тем и другим.